

Константин Симонов

Сто суток войны



ФТМ

УДК 82/821

ББК 84(2)

Симонов, К.

Сто суток войны: Роман / Константин Михайлович Симонов. — Москва: ООО «Агентство ФТМ, Лтд.», 2022. — 510 с.

ISBN 978-5-521-74749-8

Книга воспоминаний «Сто суток войны» Константина Михайловича Симонова (1915-1979), одного из самых известных советских писателей и военного корреспондента в период Великой Отечественной войны, автора трилогии «Живые и мертвые» и многих хрестоматийных стихотворений военной поры («Жди меня», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» и др.), написана на основе фронтовых дневников, которые писатель вел в первые три месяца войны, а затем, спустя 20 лет, дополнена подробными комментариями о людях, с которыми довелось встретиться в этот самый тяжелый для русского народа период Великой Отечественной войны. Автор правдиво и откровенно рассказывает о начале Великой Отечественной войны, о ее первых днях и о тех, кто принял на себя первый, самый страшный удар гитлеровской армии.

Сборник также составили мемуарные очерки «Далеко на Востоке. Халхин-Гольские записки» — о событиях на реке Халхин-Гол в Монголии и победе войск СССР над Квантунской армией Японии.

litagent.ru

Все права защищены. Никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.

© Текст. К. М. Симонов,
наследники, 2021

ISBN 978-5-521-74749-8

© ООО «Агентство ФТМ, Лтд.», 2021

ДАЛЕКО НА ВОСТОКЕ.
ХАЛХИН-ГОЛЬСКИЕ ЗАПИСИ



От автора



Неужели минуло уже почти тридцать лет после тех событий в Монголии, на реке Халхин-Гол, о которых идет речь в этих записях? Я задавал себе этот вопрос, перечитывая их и думая о том, через сколько пластов времени прошло мое, перешагнувшее за свой пятый десяток, поколение.

Время боев на Халхин-Голе — время моей юности, предгрозя перед трагическими и великими событиями, началом которых стал Брест, а концом — Берлин.

Позади была Испания, первая война с фашизмом, на которую готовы были пойти все, но попали добровольцами лишь немногие.

Впереди была Великая Отечественная война, на которой каждый совершил то, что положено.

Халхин-Гол был посредине. Там, в далекой пустыне, бок о бок с монголами сражаясь против вторгшихся в Народную Монголию японцев, армия первой в мире страны социализма с оружием в руках выполнила свой интернациональный долг. И, думается, именно поэтому события на Халхин-Голе не из тех, которые забываются, хотя, конечно, по своим масштабам они не идут в сравнение со многим из того, что нам пришлось пережить потом.

Мои записи о том лете и осени на Халхин-Голе не история событий, а лишь свидетельство одного из очевидцев о виденном своими глазами.

Остается объяснить, почему эти записи датированы 1948–1968 годами.

Вышло так, что, только приведя в порядок все свои материалы, связанные с Великой Отечественной войной, я сумел вернуться к началу — к Халхин-Голу и записать все, что сохранилось к тому времени в памяти.

А приготовить эти записи к печати руки дошли только теперь.

Константин Симонов

1968

Халхин-гольские записи



В июне 1939 года к тогдашнему начальнику ПУРа Мехлису пригласили группу, как тогда нас называли, «оборонных» писателей, и он предложил нам поехать в течение лета и осени в командировки в разные части Красной Армии. Все хотели ехать на Халхин-Гол, но послали туда только Славина, Лапина и Хацревина, видимо как людей, уже знавших Монголию. Они поехали вслед ранее уехавшему туда Ставскому. Мне предстояла осенью поездка на Камчатку, в находящуюся там воинскую часть. Вместо этого во второй половине августа меня вдруг вызвали в ПУР к Кузнецову (Мехлис, которого он заменял, в это время был на Халхин-Голе) и спросили, готов ли я ехать в Монголию. Я сказал, что готов.

Как сейчас помню, Кузнецов спросил меня:

— Как, ничего не жмет?

Я сказал, что не жмет.

Как выяснилось впоследствии, вызов объяснялся тем, что Ортенберг, редактор газеты армейской группы, действовавшей на Халхин-Голе, телеграфно запросил «одного поэта».

Когда я сказал, что готов ехать, то выяснилось, что ехать нужно сегодня же, с пятичасовым экспрессом. Происходило все это в час дня. Кое-как успели выписать мне литер и выдать деньги. Обмундирование выдать не успели, сказали, что выдают на месте.

На пятые сутки я был в Чите, а через сутки уже летел на пассажирском самолете с окошечками в Тамцаг-Булак — тыловой городок, где стоял второй эшелон нашей действовавшей в районе Халхин-Гола армейской группы.

Когда мы летели, летчик вышел из кабины и, обращаясь к нам, сказал, чтобы мы смотрели за воздухом. Я долго смотрел «за воздухом», не обнаружил в нем ничего особенного, но с удивлением увидел, что все остальные тоже внимательно смотрят «за воздухом», в котором, видимо, и они ничего такого не замечали. Только впоследствии я выяснил, что фраза «смотреть за воздухом» предполагала наблюдение за тем, не появятся ли японские истребители. Тогда я был далек от такой мысли.

В Тамцаг-Булак прилетели с сумерками, летели туда часа три или четыре над сплошной желто-зеленой степью бреющим полетом; буквально из-под самолета выскакивали стада коз и напуганные шумом гуси и утки.

Тамцаг-Булак оказался городом довольно странного с непривычки вида: в нем было три или четыре глинобитных дома, скорее похожих на сараи, и сотни три малых, больших и средних юрт.

Ночью мне выдали обмундирование, почему-то танкистское, серое, — другого, кажется, на мой рост не было. Дали сапоги, пилотку, ремень и пустую кобуру: оружия тоже не было.

Утром кто-то, ехавший в штаб армейской группы на Хамардабу, которая была от города километрах в ста с чем-то, обещал завезти меня по дороге в Баин-Бурт — место, где стояла редакция. Утром Тамцаг-Булак выглядел еще непригляднее, чем вечером: кругом была выжженная, желто-зеленая степь без конца и края.

Мы ехали, и я впервые видел знакомые только по картинкам миражи: леса и озера передвигались то слева, то справа от нас.

Дороги, собственно, никакой не было: это была простая колея, накатанная по степи, правда, почти на всем протяжении абсолютно гладкая и ровная, только кое — где попадалось полкилометра или километр невыносимой тряски, там, где дорога пересекала полосы солончаков.

А над нашими головами проходили стайками самолеты к фронту.

Часа через два мы добрались до Баин-Бурта. Собственно, нельзя сказать, чтобы это был какой-нибудь пункт на карте. Просто здесь до конфликта находился пограничный пост (в шестидесяти километрах от границы), состоявший из нескольких юрт. Теперь пограничного поста не было, но стояла громадная, длинная палатка, в которой размещалась типография, и три или четыре юрты, в которых жили люди. Поодаль, в километре, виднелись юрты и палатки полевого госпиталя.

Мой попутчик ссадил меня перед юртой, сказал: «Приехали», повернул машину и уехал.

Я приоткрыл полог и вошел в юрту. В юрте посредине был стол, а по окружности стояли четыре койки. На одной из коек сидел Ставский, на другой — редактор армейской газеты полковой комиссар Ортенберг — человек, с которым мне потом пришлось не один год вместе работать и дружить и который в первую минуту мне очень не понравился: показался сухим и желчным. Он быстро и отрывисто со мной поздоровался.

— Приехали? Очень хорошо. Будете спать в соседней юрте, вместе с писателями. А теперь надо ехать на фронт. Володя, ты возьмешь его на фронт?

Ставский сказал, что возьмет.

— Ну вот и поедете на фронт сейчас. Пойдите поставьте свой чемодан.

Я, несколько огорошенный, пошел в соседнюю юрту. Там меня дружески встретили Славин, Лапин и Хацревин. Как выяснилось, именно они посоветовали редактору попросить прислать сюда поэта. Посоветовали не столько из любви к поэзии, сколько из чувства самосохранения, ибо въедливый Ортенберг, узнав, что они в молодости писали стихи, уже несколько раз покушался заставить их заняться этим в газете. Они знали, что какой-то поэт едет, но какой, не знали.

А через пятнадцать минут я сел в «эмочку» рядом со Ставским, который сам вел ее; шофер примостился на заднем сиденье, и мы поехали на фронт.

Несколько слов о Ставском, с которым я провел первые в своей жизни три дня на фронте и который был для меня в этом смысле своего рода «крестным отцом».

О нем как о человеке, сколько я помню, разные люди были всегда очень разных мнений. Одни не любили его. Другие — среди них особенно много военных — преданно любили и уважали. Третьи, вспоминая его, говорили о нем то хорошо, то плохо, и в каждом случае вполне искренне.

Мне думается, что правы были именно эти последние, и я сам принадлежу к их числу. Это был удивительно яркий пример человека, которого облагораживали война, опасность и товарищество среди опасности и который от этого до такой степени менялся, что был совсем другим человеком, чем в обычной, мирной, а для него всегда несколько начальственной, украшенной подчеркнуто важными знакомствами обстановке.

Мне пришлось с ним впервые столкнуться, когда я учился в Литературном институте. Он произвел на меня впечатление человека грубого, несправедливого и одновременно претендующего на картинную душевность и безапелляционную «партийную» непогрешимость. Сочетание этого создавало впечатление чего-то неуловимо ханжеского. Я не видел в нем ничего хорошего и имел реальные основания считать, что и он сам ко мне плохо относится. И вдруг на Халхин-Голе, взявши сразу другой, ворчливо-покровительственный тон, он в течение нескольких дней стал для меня и старшим другом, и дядькой — человеком, искренне беспокоившимся о моей безопасности больше, чем о своей. В нем были истинное дружелюбие, простое, непоказное товарищество и добрая забота.

А потом, после Халхин-Гола и Финляндии, я встретил его опять в Москве. Это был совсем другой человек. По-моему, он был несколько озлоблен тем, что ни его положение, ни знакомства, ни заслуги, ни авторитет как писателя-фронтовика не могли сломить какого-то едва заметного, но все же уловимого

сквозь комплименты холодка, когда речь о нем заходила просто как о писателе.

Но это всего лишь деталь, связанная с его тогдашним настроением, а главное, передо мной вновь был человек грубый и самодовольный, с напыщенной прямоотой и нетерпимостью говоривший о других людях.

А потом были 1942–1943 годы. Я неоднократно встречал на фронте людей литературных, а чаще — нелитературных, командиров дивизий, полков, которые говорили, что вот тогда-то или тогда-то у них был Ставский, и говорили о нем хорошо, с теплотой, с уважением к его храбрости и простоте. А надо ведь сказать, что к нашему брату писателю при всем армейском гостеприимстве потом, в воспоминаниях, относились сурово: и косточки перемывали, и не дай бог какая-нибудь червоточинка! Ее сразу замечали и долго о ней вспоминали. Значит, он там, на передовой, в самом деле был опять простым человеком и хорошим товарищем.

Он погиб в 1943 году. И когда мы в своей среде разговаривали о нем, я вспоминал сразу двух человек: одного — грубого, недружелюбного, напыщенного; другого — заботливого, простого, сердечного. Вспоминал и обоих сразу, и порознь.

Что же было? Непосредственная ли опасность украшала душу человека и он отбрасывал в себе все мелкое и злое, даже очень привычное и въевшееся? Или просто обстановка: окопы, поле, по которому надо было переползать, блиндаж, плащ-палатка, на которой стояла вскрытая ножом консервная банка и лежали два куса хлеба, твой и мой? Может быть, это не давало вспухать в горле пышным и ханжеским словам, останавливая их, и он говорил с тобой просто как товарищ, а не как «большое лицо»? Трудно ответить на этот вопрос, но, во всяком случае, все это было точно так, как я сейчас вспоминаю.

Уже не могу вспомнить сейчас во всех подробностях, как проходили те первые для меня дни на Халхин-Голе. Помню, что была жаркая громадная степь, по которой Ставский с удиви-